

Герман Гессе

Гертруда

Роман

Hermann Hesse

Gertrud

© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main, 2001

© Перевод. С. Шлапоберская, наследники, 2018

© Издание на русском языке AST Publishers, 2018

Глава 1

Когда я словно бы вчуже оглядываю свою жизнь, она мне видится не очень-то счастливой. Но еще меньше причин у меня считать ее несчастливой, несмотря на все мои заблуждения. Да и глупо, в конце концов, так спрашивать – счастье или несчастье, ибо мне кажется, что самые несчастливые дни моей жизни я не отдал бы и за сплошь безоблачные. Если для человека в жизни важнее всего осознанно принять неотвратимое, в полной мере изведать добро и зло и наряду с внешней судьбой завоевать для себя судьбу внутреннюю, более сущностную, не случайную, то, значит, моя жизнь не была ни бедной, ни плохой. Пусть внешний рок свершился надо мной, как надо всеми, неотвратимо, по велению богов, зато моя внутренняя судьба была все-таки моим собственным творением, ее сладость или горечь зависели от меня, и я должен взять на себя всю ответственность за нее.

В ранней юности я иногда мечтал стать писателем. Исполнилась эта мечта, я не устоял бы против искушения отследить свою жизнь вплоть до прозрачайших теней детства и милых, бережно хранимых истоков самых ранних воспоминаний. А так все это достояние для меня слишком дорого и свято, чтобы я сам принялся его ворошить. О моем детстве можно сказать только одно: оно было светлым и радостным, мне дали волю самому открывать в себе задатки и дарования, самому творить для себя сердечные радости и горести и рассматривать будущее не как ниспосланное неведомой силой свыше, а как надежду и результат собственных усилий. Так я без приключений отучился в школах, как нелюбимый и мало одаренный, но зато спокойный ученик, которого в конце концов перестали трогать, поскольку он явно не поддавался никаким влияниям.

Приблизительно с шести-семилетнего возраста я понял, что из всех невидимых сил одной только музыке дано по-настоящему захватывать меня и властвовать надо мною. С тех пор у меня появился собственный мир, мое прибежище и мой рай, которого никто не мог ни отнять у меня, ни умалить и которого я ни с кем делить не желал. Я был музыкантом, хотя до двенадцати лет не учился играть ни на одном инструменте и не помышлял

впоследствии зарабатывать себе на хлеб музыкой.

Так оно с тех пор и осталось, без каких-либо существенных изменений, и потому при взгляде назад моя жизнь не кажется мне пестрой и разнообразной, а напротив – изначально настроенной на один основной тон и устремленной к одной-единственной звезде. Как бы ни жил я в остальном – хорошо или плохо, – моя внутренняя жизнь оставалась неизменной. Я мог подолгу носиться по чужим волнам, не прикасаться ни к нотной тетради, ни к инструменту, но какая-нибудь мелодия всечасно жила у меня в крови или на губах, такт и ритм – в моем дыхании и во всем моем существе. Сколь жадно ни искал я на многих других путях спасения, забвения и освобождения, как ни томился жаждою Бога, познания и мира, я неизменно находил все это только в музыке. Не обязательно, чтобы это был Бетховен или Бах, – то, что в мире вообще есть музыка, что человек временами может быть до глубины души взволнован какими-то ритмами или переполнен гармоническими созвучиями, – это всегда снова и снова означало для меня глубокое утешение и оправдание всей жизни. О музыка!

Тебе западает в душу мелодия, ты поешь ее без голоса, про себя, пропитываешь ею все твое существо, она завладевает всеми твоими силами и движениями, и на те мгновения, пока она в тебе живет, она изглаживает из тебя все случайное, злое, грубое, печальное, заставляет мир ей вторить, облегчает тяжелое, а неподвижное окрыляет! Вот на что способна даже мелодия народной песни! А что говорить о гармонии! Уже всякое ласкающее слух созвучие чисто настроенных тонов, например колокольный звон, полнит душу отрадой и удовольствием, оно расширяется с каждым новым звуком и порой может воспламенить сердце и заставить его трепетать от восторга, которого не даст никакое другое наслаждение.

Из всех представлений о чистом блаженстве, какие создали себе в мечтах народы и поэты, наивысшим и наиглубочайшим мне всегда казалось счастье подслушать гармонию сфер. Вокруг этого витали мои самые заветные и самые золотые мечтания – на какую-то долю секунды услышать мироздание и целостность жизни в их тайной, природной гармонии. Ах! Но как же тогда жизнь может быть такой беспорядочной, разлаженной и лживой, как только могут существовать среди людей ложь, злоба, зависть и ненависть, когда любая, даже самая нехитрая песенка, даже самая непритязательная музыка так внятно поучает, что чистота, гармония и братски-дружная игра чистых тонов отворяют врата рая! И как же это я сам

смею ругаться и злиться, когда я тоже, при всем желании, не сумел претворить свою жизнь в песню и чистую музыку! В глубине души я, правда, чувствую немолчный голос совести, неутолимую жажду прозрачного, сладостного, самоупоенного звучания, то возникающего, то затихающего, однако мои дни полны случайностей и диссонансов, и куда бы я ни обратился, в какую бы дверь ни постучался, я никогда не слышу чистого и ясного отзвука.

Но хватит об этом, я намерен рассказывать. Когда я сейчас задумываюсь над тем, для кого исписываю эти листы, кто, в сущности, имеет надо мной такую власть, что может потребовать от меня признаний и нарушить мое одиночество, то я должен назвать одно дорогое мне женское имя, которое не только осеняет большой отрезок моей судьбы и пережитого мною, но вправе также стоять надо всем, как звезда и высший символ.

Глава 2

Только в последние школьные годы, когда все мои товарищи стали говорить о своих будущих профессиях, я тоже начал об этом подумывать. Сделать музыку делом своей жизни и источником существования – от такой мысли я, в сущности, был далек, однако представить себе какую-нибудь другую профессию, которая доставляла бы мне радость, я не мог. У меня не было отвращения к торговле или другим занятиям, какие предлагал мне отец; просто они были мне безразличны. Но коль скоро мои товарищи так гордились избранными профессиями, да и во мне, наверное, тоже какой-то голос говорил в пользу такого выбора, мне показалось все же правильным и разумным сделать моей специальностью занятие, которое и без того заполняло мои мысли и единственно доставляло мне настоящую радость. Пришлось очень кстати, что с двенадцати лет я начал играть на скрипке и благодаря хорошему учителю кое-чему научился.

Как сильно ни противился мой отец, как ни страшился того, что его сын изберет ненадежное поприще художника, его сопротивление только укрепляло мою решимость, а учитель, благоволивший ко мне, отстаивал мой выбор, насколько у него хватало сил. Под конец отец уступил, однако для проверки моего постоянства и в надежде, что я все-таки изменю свои намерения, мне назначили еще один год учения в школе, который я высидел с достаточным терпением и к концу которого стал только увереннее в своем решении.

В течение этого последнего школьного года я впервые влюбился в одну хорошенькую барышню из круга наших знакомых. Хотя я не так уж часто ее видел и не так уж сильно этого желал, я будто во сне испытывал радость и страдание от сладостных волнений первой любви. И вот в это время, когда я целыми днями столько же думал о моей музыке, сколько о моей любви, а ночами не мог спать от восхитительного возбуждения, я впервые осознанно удержал в памяти мелодии, зазвучавшие во мне, две небольшие песни, и попытался их записать. Это наполнило меня стыдливой, но проникновенной радостью, заставив почти совсем забыть мои наигранные любовные страдания. Между тем я узнал, что моя любимая берет уроки

пения, и мне очень захотелось услышать, как она поет. Мое желание исполнилось спустя несколько месяцев, на званом вечере в доме моих родителей. Хорошенькую девушку настойчиво упрашивали спеть, она стойко сопротивлялась, но под конец все же сдалась, – я ужасно нервничал в ожидании. Некий господин взялся аккомпанировать ей на нашем маленьком пианино, он проиграл несколько тактов, и она запела. Ах, пела она плохо, удручающе плохо, и за то время, что она пела, мое потрясение и мука успели смениться состраданием, а потом – насмешкой, и вскоре от этой влюбленности у меня и следа не осталось.

Я был спокойным и не то чтобы ленивым, но и не прилежным учеником, а в последний год и вовсе перестал стараться. В этом была повинна не моя лень и даже не влюбленность, а состояние юношеской мечтательности и равнодушия, притупление чувств и ума, которое лишь изредка внезапно и резко прерывалось, когда в один из дивных часов ранней творческой радости меня словно обволакивал эфир. Тогда я чувствовал себя погруженным в сверхпрозрачный, хрустальный воздух, в котором грезы и прозябание невозможны, где все чувства обострены и неустанно настороже. То, что родилось в эти часы, – это, быть может, с десяток мелодий и какие-то начатки гармонических построений; однако воздуха этих часов я никогда не забуду, сверхпрозрачного, почти холодного воздуха и напряженной сосредоточенности мыслей, дабы придать мелодии верное, единственно возможное и уже не случайное развитие и разрешение.

Доволен я этими маленькими успехами не был и никогда не считал их чем-то значительным и стоящим, но мне стало ясно, что в моей жизни не будет ничего столь желанного и важного, как повторение таких часов прозрачности и творчества.

При этом я знавал и дни мечтаний, когда я фантазировал на скрипке и упивался восторгом мимолетных наитий и колоритных настроений. Только вскоре я понял, что это было не творчество, а игра и баловство, которого я должен остерегаться. Я заметил, что предаваться своим мечтам и наслаждаться часами упоения – это совсем не то, что беспощадно и сознательно, как с врагами, сражаться с тайнами формы. И мне уже тогда приоткрылось, что настоящее творчество делает одиноким и требует от нас, чтобы мы в чем-то лишали себя житейских удовольствий.

Наконец школа осталась позади, я был свободен и, попрощавшись с

родителями, начал новую жизнь как студент консерватории в столице. Я сделал этот шаг, полный больших ожиданий, и был убежден, что в музыкальной школе буду хорошим учеником. Но, к моему великому сожалению, получилось иначе. Мне стоило усилий успевать по всем предметам, уроки игры на фортепиано, которые я теперь должен был брать, я воспринимал как великую пытку, и вскоре все мои учебные занятия предстали передо мной как неодолимая гора. Пусть я и не намерен был сдаваться, но я был разочарован и растерян. Я понял теперь, что при всей моей скромности все-таки считал себя чем-то вроде гения, и существенно недооценил усилия и трудности на пути к искусству. К тому же охота к сочинению музыки была у меня основательно отбита, ибо теперь, что бы мне ни задали, я видел перед собой лишь горы препятствий и правил, научился совершенно не доверять своему чувству и уже не знал, есть ли во мне вообще хоть искра собственной силы. И я смирился, стал незаметным и печальным, работу свою выполнял почти так же, как делал бы ее в какой-нибудь конторе или в другой школе, – прилежно и безрадостно. Жаловаться я не смел, меньше всего в письмах домой, а в молчаливом разочаровании шел дальше по избранному пути и поставил себе целью сделаться по крайней мере приличным скрипачом. Я усиленно занимался, глотал грубости и насмешки преподавателей, видел, как многие другие, кого я не считал бы на это способным, легко продвигаются вперед, снискивая похвалы, и довольствовался все меньшим, поскольку и с игрой на скрипке дело обстояло совсем не так, чтобы я мог этим гордиться и, скажем, возмечтал бы стать виртуозом. По всему выходило, что из меня при должном прилежании может получиться дельный ремесленник, который в каком-нибудь маленьком оркестре будет скромно, без стыда и славы, играть на своей скрипке и тем зарабатывать себе на хлеб.

Так это время, о котором я столько мечтал и от которого ожидал столь многого, стало единственным периодом моей жизни, когда я, покинутый духом музыки, шел безрадостным путем и жил изо дня в день без истинной гармонии. Там, где я искал улады, возвышения, блеска и красоты, я находил только требования, правила, обязанности, затруднения и опасности. Если в голову мне приходила какая-нибудь музыкальная идея, то она оказывалась или банальной и уже стократ осуществленной, или находилась в явном противоречии со всеми законами искусства, а значит, ничего не стоила.

И тогда я запрятал подальше все свои высокие помыслы и надежды. Я был

один из тысяч тех, кто с юношеской дерзостью приходит в искусство и чьи силы иссякают, едва лишь дело примет серьезный оборот.

Такое состояние длилось около трех лет. Мне было уже за двадцать, я, очевидно, ошибся в выборе профессии и двигался дальше по избранному пути только из стыда и чувства долга. О музыке я и думать забыл, знал только упражнения для пальцев, трудные задания, противоречия в учении о гармонии, угнетающие уроки по классу фортепиано у насмешливого учителя, который все мои усилия считал лишь пустой тратой времени.

Если бы в тайниках моей души не жил еще прежний идеал, то в те годы я не знал бы горя. Я был свободен, имел друзей, был красивым и цветущим молодым человеком, сыном состоятельных родителей. Временами я всем этим пользовался, у меня случались дни веселья – флирт, пирушки, поездки на каникулы. Но я не мог этим утешиться, не мог, побыстрее отработав свой урок, вволю наслаждаться своей молодостью. Я не отдавал себе в этом отчета, но в часы слабости во мне все еще давала себя знать тоска по закатившейся звезде артистического призвания, я был не в силах забыть свои обманутые надежды и одурманивать себя. Только однажды мне это вполне удалось.

Это был самый безрассудный день моей безрассудной юности. Я бегал тогда за одной ученицей знаменитого учителя пения Г. С нею, казалось, происходило то же, что со мной, она приехала, полная больших надежд, встретила строгих учителей, к работе была непривычна и под конец даже стала думать, что теряет голос. Пошла по пути наименьшего сопротивления, флиртовала с нами, своими соучениками, знала, как всем нам вскружить голову, для чего, по правде говоря, многого и не требовалось. Природа наделила ее огненной, живой и яркой красотой, которая быстро увядает.

Эта красотка Лидди всякий раз, когда я ее видел, снова покоряла меня своим наивным кокетством. Я никогда не бывал влюблен в нее подолгу, часто совсем забывал о ней, но в ее присутствии влюбленность захлестывала меня снова. Она играла со мной так же, как с другими, дразнила нас, наслаждалась своей властью, вкладывая в эту игру лишь чувственное любопытство юности. Лидди была очень хороша собой, но только когда говорила и была в движении, когда смеялась своим теплым, низким голосом, когда танцевала или забавлялась ревностью своих

поклонников. Стоило мне вернуться домой с какого-нибудь сблища, где я ее видел, я сам себя высмеивал, доказывая себе, что человек моего склада не может по-настоящему любить эту ловкую кокетку. Однако через какое-то время ей снова удавалось каким-нибудь жестом или вполголоса произнесенным словом так возбудить меня, что я полночи шатался возле ее дома, разгоряченный и шалый.

У меня выдался тогда краткий период ошаления и наполовину наигранного озорства. После дней подавленности и тупого покоя моя молодость бурно требовала движения и хмеля, и тогда я вместе с несколькими своими товарищами и сверстниками пускался в увеселения и проказы. Мы прослыли жизнерадостными, распушенными, даже опасными бузотерами, что ко мне совсем не подходило, и приобрели у Лидди и ее маленького кружка сомнительную, но сладостную героическую славу. Какую долю в этих выходках составлял настоящий юношеский задор, а какую – желание забыться, мне сегодня уже не определить, ибо я давно и окончательно перерос те состояния и все внешние признаки молодости. Если и были какие-то излишества, то я их искупил. Однажды зимним днем, когда у нас не было занятий, восемь – десять молодых людей, в их числе Лидди с тремя подругами, поехали за город. Мы взяли с собой сани – в то время катанье на санях считалось еще детской забавой – и стали осматривать в гористых окрестностях города дороги и открытые склоны в поисках хороших санных путей. Я прекрасно помню тот день. Стоял небольшой мороз, иногда на четверть часика выглядывало солнце, в бодрящем воздухе чудесно пахло снегом. Девушки в пестрых одеждах и платках замечательно смотрелись на белом фоне, терпкий воздух пьянил, и на этом холоде так и подмывало бегать и резвиться. Наша маленькая компания была в самом веселом настроении, отовсюду слышались дурашливые прозвища и насмешки, в ответ летели снежки, что приводило к маленьким баталиям, и так до тех пор, покамест все мы, разгоряченные и облепленные снегом, не останавливались, чтобы перевести дух, прежде чем начать снова. Была построена большая снежная крепость, ее осадили и взяли штурмом, а в промежутках между битвами мы то там, то здесь съезжали на санях по отлогому склону. Около полудня, когда все зверски проголодались от этой возни, мы отправились на поиски и нашли деревню с хорошим трактиром, где заставили хозяев жарить и парить для нас всякую всячину, сгрудились возле пианино, пели, орали, заказали вино и прочее. Подали еду, мы торжественно за нее принялись, хорошее вино лилось в изобилии, потом девушки потребовали кофе, а мы смаковали ликеры. В маленькой зале

стоял такой шум и гам, что у всех гудела голова. Я находился все время рядом с Лидди, которая, будучи в благодушном настроении, удостоила меня сегодня особой милости. Напоенный весельем и хмелем воздух пошел ей на пользу, она буквально расцвела, ее красивые глаза засверкали, и она не отвергала некоторых одновременно дерзких и робких ласк. Затеяли игру в фанты, платить за них надо было либо сев за пианино и подражая кому-либо из наших учителей, либо поцелуями, количество и качество коих строго проверялось.

Когда мы разгоряченной толпой выкатились из трактира и направились домой, до вечера было еще далеко, хотя уже начинало понемногу смеркаться. Неспешно возвращаясь в город сквозь тихо спускавшийся вечер, мы опять затеяли возню в снегу, как расшалившиеся дети. Мне удалось остаться рядом с Лидди, рыцарем которой я отныне себя объявил, несмотря на протесты остальных. То один, то другой отрезок дороги я вез ее на своих санях и как мог защищал от постоянно возобновлявшегося обстрела снежками. Наконец нас оставили в покое, каждая из девушек нашла себе кавалера, и только два молодчика, оказавшиеся не у дел, плелись за нами следом, задираясь и горя воинственным пылом. Никогда еще я не был так возбужден и так безрассудно влюблен, как в тот вечер. Лидди взяла меня под руку и не сопротивлялась, когда я на ходу слегка притягивал ее к себе. При этом она то безудержно болтала в вечерней тишине, то затихала в счастливом и, как мне казалось, многообещающем молчании. Я весь горел и был полон решимости в меру сил воспользоваться случаем и по меньшей мере продлить елико возможно это интимно-нежное состояние. Никто не стал возражать, когда, подойдя уже близко к городу, я предложил сделать еще один крюк и свернул на живописную горную дорогу, полукругом огибавшую долину на крутой высоте, откуда открывался прекрасный вид на текущую внизу реку и город, уже блестевший из глубины рядами сверкающих фонарей и тысячей красных огоньков.

Лидди все еще висела у меня на руке, она не мешала мне говорить, смеясь, выслушивала мои пылкие излияния и, казалось, была глубоко взволнована сама. Однако, когда я с некоторым усилием притянул ее к себе и хотел поцеловать, она высвободилась и отскочила в сторону.

— Смотрите! — воскликнула она, переведя дыхание. — На тот луг внизу мы непременно должны съехать на санях! Или вы боитесь, мой герой?

Я посмотрел вниз и удивился: спуск был настолько крутой, что на мгновение я действительно ужаснулся такой дерзкой затее.

– Не получится, – небрежно сказал я, – уже слишком темно.

Она сразу же напустилась на меня с насмешками, кипя от возмущения, обозвала трусом и поклялась съехать по этому склону одна, коли я слишком труслив, чтобы к ней присоединиться.

– Мы, конечно, перекувырнемся, – заявила она смеясь, – но это же самое забавное во всем катании.

Она так дразнила меня, что я был вынужден что-то придумать.

– Хорошо, Лидди, – тихо сказал я, – мы съедем. Если перекувырнемся, разрешаю вам растереть меня снегом, но если мы спустимся благополучно, то я, в свою очередь, желаю получить награду.

В ответ она только рассмеялась и села на сани. Я посмотрел ей в глаза, они лучились теплом и весельем, тогда я сел впереди нее, велел ей крепко держаться за меня и покатил. Я почувствовал, как она обхватила меня, сцепив руки у меня на груди, хотел что-то еще ей крикнуть, но уже не мог. Крутизна была такой страшной, что мне показалось, будто я падаю в пустоту. Я сразу попытался нащупать ногами землю, чтобы остановиться или опрокинуться, – смертельный страх за Лидди внезапно пронзил мне сердце. Однако было уже поздно. Сани неудержимо летели вниз, я чувствовал только бьющий мне в лицо холодный, колющий вихрь взметенной снежной пыли, потом услышал испуганный крик Лидди и тут же на голову мне обрушился чудовищный удар, будто кузнечного молота, после чего я ощутил резкую боль. Последнее, что я почувствовал, – холод.

Этим коротким лихим спуском на санях я искупил свои юношеские услады и сумасбродства. Позднее вместе со многим другим испарилась без следа и моя любовь к Лидди.

Я был вне того переполоха и той панической суеты, которые последовали за катастрофой. Для других это был тягостный час. Они слышали крики Лидди, смеялись и поддразнивали нас сверху, глядя в темноту, потом наконец поняли, что случилась какая-то беда, с трудом спустились вниз, и понадобилось некоторое время, покамест они, остыв от опьянения и

разгула, начали немного соображать. Лидди была бледна и в полуобмороке, хотя совершенно невредима, у нее оказались только порваны перчатки и немного оцарапаны и окровавлены изящные белые руки. Меня же унесли с места происшествия как покойника. Позднее я тщетно пытался отыскать то яблоневое или грушевое дерево, о которое разбились мои сани и мои кости.

Друзья полагали, что я погиб от сотрясения мозга, хотя на самом деле все обстояло не так уж скверно. Голова и мозг были, правда, повреждены, и прошло очень много времени, прежде чем я пришел в себя в больнице, но рана зажила и мозг поправился. Зато левая нога со множественными переломами не пожелала восстановиться полностью. С тех пор я калека, способный только ковылять, но не ходить или, тем более, бегать и танцевать. Таким образом моей юности нежданно был указан путь в более тихий мир, путь, на который я вступил не без стыда и сопротивления. Но я все же на него вступил, и мне иногда кажется, что я ни за что бы не вычеркнул из своей жизни это вечернее катанье на санях и его последствия.

Правда, я думаю при этом не столько о сломанной ноге, сколько о других последствиях того несчастного случая, куда более приятных и отрадных. Было ли тут причиной само несчастье и связанный с ним испуг и взгляд во мрак или то было долгое лежание, месяцы покоя и размышлений – но лечение пошло мне впрок.

Начало этого долгого периода покоя, например первая неделя, совершенно стерлось из моей памяти. Я по многу часов был без сознания, а когда окончательно опамятовался, то лежал ослабевший и ко всему безразличный. Моя мать пришла ко мне в больницу и все дни преданно сидела у моей постели. Когда я на нее смотрел или обменивался с ней несколькими словами, она казалась обрадованной и почти веселой, хотя, как я узнал позднее, она тревожилась за меня, и не столько за мою жизнь, сколько за мой рассудок. Иногда мы с ней подолгу болтали в тихой светлой больничной комнатке. Наши отношения с ней никогда не отличались особой сердечностью, я всегда был больше привязан к отцу. Теперь же мы оба смягчились, она – от сострадания, я – от благодарности, и настроились на примирение, однако мы слишком давно привыкли к бездеятельному ожиданию и вялому равнодушию, чтобы пробудившаяся теперь сердечность могла найти себе выход в наших разговорах. Мы смотрели друг на друга довольными глазами и многого не обсуждали. Она снова была моей матерью, потому что я свалился ей на руки больной и она могла

за мной ухаживать, а я смотрел на нее, снова чувствуя себя мальчиком, и временами забывал обо всем остальном. Правда, позднее у нас опять сложились прежние отношения, и мы избегали много говорить о моей тогдашней болезни, ибо это приводило нас обоих в смущение.

Я начал постепенно осознавать свое положение, и, поскольку лихорадочное состояние у меня прошло и внешне я был спокоен, врач перестал делать секрет из того, что памятка о моем падении, видимо, останется у меня на всю жизнь. Я увидел, что моя молодость, которой я не успел еще сколько-нибудь сознательно насладиться, ощутимо урезана и обобрана, и получил достаточно времени для того, чтобы свыкнуться с этой мыслью, так как лежать мне пришлось еще добрых три месяца.

Я всячески старался осмыслить свое положение и представить себе картину будущего, но мало в этом преуспел. Напряженные размышления мне пока еще не давались, всякий раз я быстро уставал и впадал в отдохновенное забытие, коим природа оберегала меня от страха и отчаяния и принуждала к покою ради исцеления. Тем не менее мое несчастье часами терзало меня, и я не мог найти никакого достойного утешения.

Это произошло однажды ночью, когда я проснулся после нескольких часов легкой дремоты. Мне казалось, я видел во сне что-то приятное, и я старался это вспомнить, но тщетно. На душе у меня было удивительно хорошо и легко, словно я преодолел все неприятности и они уже позади. И вот пока я так лежал и размышлял, омываемый тихими потоками выздоровления и спасения, на уста мне пришла мелодия, почти беззвучная, я стал напевать ее дальше не переставая, и нежданно, как открывшаяся звезда, на меня вновь глянула музыка, от которой я так долго был отлучен, и мое сердце забилось ей в такт, все мое существо расцвело и дышало теперь новым, чистым воздухом. Я не сознавал этого, просто это было со мной и спокойно проникало в меня, словно вдалеке мне пели тихие хоры.

С этим проникновенным и свежим чувством я опять заснул. Утром я проснулся веселый и беззаботный, каким не бывал уже давно. Матушка заметила это и спросила, что меня так радует. Я задумался и через несколько минут сказал ей, что давно не вспоминал о своей скрипке, а теперь она пришла мне на ум и я этому рад.

– Но тебе еще долго не придется на ней играть, – заметила она с некоторой

опаской.

– Это не беда, даже если я больше никогда не смогу на ней играть.

Она меня не поняла, а я не мог ей ничего объяснить. Но она заметила, что мне лучше и что за моей беспричинной веселостью не таится некий враг. Через несколько дней она опять осторожно заговорила об этом.

– Послушай, а как у тебя вообще обстоят дела с музыкой? Мы было подумали, что она тебе опротивела, отец даже разговаривал с твоими учителями. Навязывать тебе что-либо мы не хотим, меньше всего – теперь, но мы считаем, если ты обманулся и хотел бы покончить с музыкой, то это надо сделать и не держаться за нее из упрямства или из стыда. Как ты думаешь?

Тут мне опять вспомнилось все это время отчуждения и разочарования. Я попытался рассказать матушке, как шли мои дела, и она, кажется, поняла. Но теперь, сказал я, у меня вновь появилась уверенность в своей правоте, во всяком случае, просто убегать я не собираюсь, а хочу доучиться до конца. На этом покамест и порешили. В глубинах моей души, куда не могла заглянуть эта женщина, была сплошная музыка. Повезет мне с игрой на скрипке или нет, мир опять звучал для меня как высокое произведение искусства, и я знал, что вне музыки мне нет спасения. Если мое состояние никогда уже не позволит мне играть на скрипке, то придется от этого отказаться, быть может, подыскать себе другую профессию, например стать купцом. В конце концов, не так уж важно, кем я стану, чувствовать музыку я буду ничуть не меньше, буду жить и дышать музыкой. Я начну опять сочинять музыку! Радовался я не игре на скрипке, как сказал матушке, а сочинению музыки, творчеству, от предвкушения которого у меня дрожали руки. Временами я снова чувствовал чистые колебания прозрачного воздуха, напряженную холодность мыслей, как бывало раньше в мои лучшие минуты, и понимал, что в сравнении с этим негнущаяся нога и другие беды мало что значат.

С этой минуты я был победителем, и сколь часто бы ни перебежали с тех пор мои желания в страну здоровья и юношеских услад, сколь часто бы я с ожесточением и гневным стыдом ни клял и ни ненавидел свое увечье, это страдание никогда не надрывало моих сил, ибо существовало нечто способное и утешить, и озарить меня.

Время от времени отец приезжал навестить нас с матерью, и в один прекрасный день – к этому дню мои дела уже давно пошли на поправку – он забрал ее домой. В первые дни после ее отъезда я чувствовал себя довольно-таки одиноко, к тому же стыдился того, что недостаточно сердечно говорил с ней, недостаточно вникал в ее помыслы и заботы. Однако другое чувство слишком переполняло меня для того, чтобы эти мысли перестали быть только прекраснодушной игрой.

Вдруг ко мне явился неожиданный посетитель, не решавшийся прийти, пока рядом со мной находилась мать. То была Лидди. Я очень удивился ее приходу. В первую минуту даже не вспомнил, как близки мы были с ней недавно и как сильно я был в нее влюблен. Пришла она в большом смущении, которого не умела скрыть, боялась моей матери и даже суда, так как сознавала свою вину, и лишь постепенно стала понимать, что дело не так уж плохо и она тут, в сущности, совсем ни при чем. Тогда она облегченно вздохнула, и все же нельзя было не заметить у нее легкого разочарования. Эта девушка при всех угрызениях совести в глубине своего доброго женского сердца искренне упивалась всей этой историей, таким ужасно потрясающим и трогательным несчастьем. Она даже несколько раз употребила слово «трагический», и я едва удержался от смеха. Вообще Лидди совсем не ожидала найти меня таким бодрым и столь малопочтительным к своему несчастью. Она вознамерилась просить у меня прощения, ведь, даровав ей оное, я как влюбленный должен был почувствовать огромное удовлетворение. Разыгралась бы трогательная сцена, и в итоге она бы вновь победоносно завладела моим сердцем.

Конечно, для глупой девчонки было немалым облегчением увидеть меня таким довольным, а себя – свободной от какой бы то ни было вины или ответственности. Однако она этому облегчению не радовалась, напротив: чем больше успокаивалась ее совесть и улетучивался страх, с которым она пришла, тем молчаливей и холодней она становилась. В довершение всего ее еще заметно обидело, что я так низко оценил ее участие в этой истории, даже как будто бы забыл о нем, что в зародыше подавил растроганность и просьбу о прощении и лишил ее задуманной красивой сцены. Что я больше нисколько в нее не влюблен, она поняла очень хорошо, несмотря на мою безукоризненную вежливость, и это было самое худшее. Пусть бы я потерял руки и ноги, все же я был ее поклонником, которого она, правда, не любила и так и не осчастливила, но чьи вздохи доставляли ей тем больше удовлетворения, чем жалостней они были. Теперь же от этого ничего не

осталось, она прекрасно это поняла, и я увидел, как на ее красивом лице понемногу гаснут и остывают тепло и участие сострадательной посетительницы к больному. В конце концов, напыщенно попрощавшись, она ушла и больше не приходила, хотя клятвенно обещала.

Как бы ни было мне обидно и как бы ни страдало мое самолюбие оттого, что моя прежняя любовь обернулась чем-то мелким и смешным, все же этот визит пошел мне на пользу. Я был очень удивлен, впервые глядя на эту красивую, обворожительную девушку без страсти и ослепления и убедившись в том, что совсем ее не знал. Если бы мне показали куклу, которую я обнимал и любил в трехлетнем возрасте, то отчуждение и перемена в чувствах не могли бы поразить меня сильнее, нежели теперь, когда я увидел перед собой девушку, еще несколько недель назад столь горячо желанную и вдруг ставшую мне совершенно чужой.

Из товарищей, принимавших участие в этой зимней воскресной вылазке, двое несколько раз меня навестили, но у нас мало о чем нашлось поговорить, и я заметил, как облегченно они вздохнули, когда дела у меня пошли на поправку и я попросил их больше мне жертв не приносить. Позднее мы никогда не встречались. Это было удивительно и произвело на меня болезненно-странное впечатление: все, что относилось к моей жизни в эти юношеские годы, отпало от меня, стало чуждым и было утрачено. Я вдруг увидел, как фальшиво и печально жил все это время, раз любовь, друзья, привычки и радости тех лет теперь спали с меня, как ветхая одежда, отделились без боли, так что оставалось лишь удивляться, как это я мог столь долго их выдерживать или как они могли выдерживать меня.

Конец ознакомительного фрагмента. Читать дальше:

[Перейти](#)